

Николай Алексеевич Некрасов в воспоминаниях современников

Ф.М. Достоевский

Болезнь и смерть Некрасова явилась для писателя большим потрясением. Он часто навещал больного и просил не будить, если тот спал. Но когда Некрасов бодрствовал, Достоевский слушал в его чтении последние стихи. Узнав о кончине поэта 27 декабря, он, по словам жены, А.Г. Достоевской, « всю ночь читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренне восхищаясь многими из них и признавая их настоящими перлами русской поэзии... ».

Умер Некрасов. Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было видеть, что такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он все еще не верил в возможность близкой смерти. За неделю до смерти с ним был паралич правой стороны тела, и вот 28 утром я узнал, что Некрасов умер накануне, 27-го, в 8 часов вечера. В тот же день я пошел к нему. Страшно изможденное страданием и искаженное лицо его как-то особенно поражало. Уходя, я слышал, как псалтырщик четко и протяжно прочел над покойным: « Несть человек, иже не согрешит ». Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу; взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до шести часов утра, и все эти тридцать лет как будто я прожил снова. Эти первые четыре стихотворения, которыми начинается первый том его стихов, появились в « Петербургском сборнике », в котором явилась и моя первая повесть. Затем, по мере чтения (а я читал сподряд), передо мной пронеслась как бы вся моя жизнь. Я узнал и припомнил и те из стихов его, которые первыми прочел в Сибири, когда, выйдя из моего четырехлетнего заключения в остроге, добился, наконец, до права взять в руки книгу. Припомнил и впечатление тогдашнее. Короче, в эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни! Как поэт, конечно. Лично мы сходились мало и редко и лишь однажды вполне с беззаветным, горячим чувством, именно в самом начале нашего знакомства, в сорок пятом году, в эпоху « Бедных людей ». Но я уже рассказывал об этом. Тогда было между нами несколько мгновений, в которые, раз навсегда, обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери — и то, как говорил он о своей матери, та сила умиления, с которою он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маяком, путевой звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то уж, конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, чтоб не видали (как рассказывал он мне), с мученицей матерью, с существом, столь любимшим его. Я думаю, что ни одна потом привязанность в жизни его не могла бы так же, как эта, повлиять и властительно подействовать на его волю и на иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие его всю жизнь. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. Потом, помню, мы как-то разошлись, и довольно скоро; близость наша друг с другом продолжалась не более нескольких месяцев. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. Затем, много лет спустя, когда я уже воротился из Сибири, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже на разницу в убеждениях,

уже тогда начинавшуюся, встречаясь, говорили иногда друг другу даже странные вещи — точно как будто в самом деле что-то продолжалось в нашей жизни, начатое еще в юности, еще в сорок пятом году, и как бы не хотелось и не могло прерваться, хотя бы мы и по годам не встречались друг с другом. Так однажды в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: «Я тут об вас думал, когда писал это» (то есть об моей жизни в Сибири), «это об вас написано». И, наконец, тоже в последнее время, мы стали опять иногда видеть друг друга, когда я печатал в его журнале мой роман «Подросток»...

На похороны Некрасова собралось несколько тысяч его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессия выноса началась в 9 часов утра, а разошлись с кладбища уже в сумерки. Много говорилось на его гробе речей, из литераторов говорили мало. Между прочим, прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь под глубоким впечатлением, я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненное сердце, раз на всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолудина в горькой, так часто, доле его. Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом». В самом деле (устраняя всякий вопрос о художественной силе его поэзии и о размерах ее), — Некрасов был в высшей степени своеобразен и, действительно, приходил с «новым словом». Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое, бесспорно, останется за Некрасовым. В этом смысле он, в ряду поэтов (то есть приходивших с «новым словом»), должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Когда я вслух выразил эту мысль, то произошел один маленький эпизод: один голос из толпы крикнул, что Некрасов был *выше* Пушкина и Лермонтова, и что те были всего только «байронисты». Несколько голосов подхватили и крикнули: «Да, выше!» Я, впрочем, о высоте и о сравнительных размерах трех поэтов и не думал высказываться. Но вот что вышло потом: в «Биржевых ведомостях» г. Скабичевский, в послании своем к молодежи по поводу значения Некрасова, рассказывая, что будто бы когда *кто-то* (то есть я) на могиле Некрасова «вздумал сравнивать имя его с именами Пушкина и Лермонтова, вы все (то есть вся учащаяся молодежь) *в один голос, хором* прокричали: “Он был выше, выше их”». Смею уверить г. Скабичевского, что ему не так передали и что мне твердо помнится (надеюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнул всего один голос: «Выше, выше их», — и тут же прибавил, что Пушкин и Лермонтов были «байронисты» — прибавка, которая гораздо свойственнее и естественнее одному голосу и мнению, чем *всем*, в один и тот же момент, то есть тысячному хору — так что факт этот свидетельствует, конечно, скорее в пользу моего показания о том, как было это дело. И затем уже, сейчас после первого голоса, крикнуло еще несколько голосов, но всего только несколько, тысячного же хора я не слышал, повторяю это и надеюсь, что в этом не ошибаюсь.

Я потому так на этом настаиваю, что мне все же было бы чувствительно видеть, что *вся* наша молодежь впадает в такую ошибку. Благодарность к великим отошедшим именам должна быть присуща молодому сердцу. Без сомнения, иронический крик о байронистах и возгласы: «Выше, выше», — произошли вовсе не от желания затеять над раскрытой могилой дорогого покойника литературный спор, что было бы неуместно, а что тут просто был горячий порыв заявить как можно сильнее все накопившееся в сердце чувство умиления, благодарности и восторга к великому и столь сильно волновавшему нас поэту.

<...>